

Галина Орлова

**„КАТАСТРОФЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА“:
ТЛЕН, ХВОРЬ И УРОДСТВО КАК ДИСКУРСИВНОЕ ОРУЖИЕ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ**

„Катастрофы человеческого тела“ – недавний проект Санкт-Петербургского Музея восковых фигур, позволяющий обывателю увидеть „людей с всевозможными физическими отклонениями (трехногий, четырехглазый, двухголовый, безногий и др.)“ в обществе „наиболее известных фигур недавнего прошлого и современности“ – Ленина, Сталина, Брежнева, Горбачева, Ельцина, Путина и др.¹ Почему вожди и президенты оказались рядом с мутантами и уродцами? Тела, в которых гнездится власть, безусловно, – объекты не менее странные, а значит, коммерчески привлекательные, чем тела гротескных форм и размеров. И все же связь между политическим телом и аномалией здесь кажется откровенно натянутой по сравнению, например, с катастрофами, вписанными в плоть советских политических персонажей и придающими ей форму. Гидры контрреволюции, пауки-кулаки и вампиры-эксплуататоры, политические мертвецы и карлики, загнивающие трупы буржуазии и прочие инварианты классового зла, наделенные странными и страшными телами, сформировали пореволюционное политическое воображение. В начале 1920-х годов наметился переход от демонстрации политических монстров к более тонким дискурсивным манипуляциям с метаморфичной телесностью: аномальные состояния тела (уродство, болезнь, распад) указывали на политическую патологию и делали ее очевидной.²

¹ См.: сайт музея: <http://www.waxfigures.ru/>

² Тело рассматривается как важный ресурс для маркировки рисков, неопределенности и опасности для общества или индивида у М. Douglas (1970). Исключительную роль телесных метафор в определении характера социальных отношений подчеркивает В. Turner (1996, 7).

„Обнаженная физиономия врага“

„Классовый признак“ не следует наклеивать человеку извне, на лицо, как это делается у нас; классовый признак не бородавка, это нечто очень внутреннее, нервно-мозговое, биологическое.

М. Горький, *О пьесах*, 1933

В своей вступительной речи на 8 съезде комсомола в мае 1928 года Н. Бухарин предложил классификацию врагов нового строя, разделив их на явных (к ним он отнес остатки класса эксплуататоров – „обнаженная и наиболее злобная физиономия врага“), замаскированных (сектантов), идейно перерождающихся (антисемитов) и внутренних („враги внутри нас самих“) (*Правда*, 13.05.1928). Классификация в общих чертах воспроизводила историческую типологию политического противника, превратившегося за 11 лет советской власти из явного недруга, выявляемого методами генеалогической или социально-экономической критики, в невидимого врага, идеологические дефекты которого интериоризированы и психологически обоснованы.

„Буржуи“, „эксплуататоры“, „кулаки“, „бывшие люди“, „классово чуждые элементы“, „лишенцы“, „паразиты“ и другие „явные враги“ не нуждались в специальной политической оптике, чтобы быть обнаруженными. Это не означает, что „осколкам старого строя“ не удавалось остаться незамеченными, полностью обойти ловушки идентификации. Советская печать время от времени сообщала о разоблачении бывшего белогвардейца, затесавшегося в ряды Красной армии, или о коварстве помещицы, арендовавшей у государства свой собственный сад. Речь шла не столько о тотальном учете „бывших“, сколько о принципиальной видимости этого типа классового противника для носителя советского дискурса. „Явным“ такого врага делала очевидная инородность его габитуса, а внешние знаки классовой инаковости стали определяющими для политической перцепции начала 1920-х годов.

Известный питерский адвокат Н. Майер вспоминал: „Озлобление низших классов населения против каждого, носившего внешние признаки принадлежности к классам привилегированным, вылилось до такой степени бурно, что стало невозможным, например, ездить в трамваях, не подвергаясь оскорблениям“ (цит по: Смирнова 2003, 32). Установление прямой связи между видимыми атрибутами буржуазности, генеалогией и политическим кредо превращало внешность и стратегии ее оформления в аргумент обвинения. М. Таривердиев воспроизводит эпизод из жизни советского статуправления, когда на партийном собрании был поднят вопрос о том, что „мама носит шелковые чулки, что неплохо бы вспомнить, из какой она

семьи, совсем не пролетарской...“ (Таривердиев 1997, 21). Детали старорежимного гардероба, будь то цилиндр, пенсне или дамская шляпка, превращались в массовом сознании в устойчивые маркеры негативной политической идентичности. Корреспондент главной пролетарской газеты, ведущий репортаж из зала судебного заседания, не только представляет точку зрения „рабочего человека“ на политическую очевидность гардероба,³ но и участвует в ее конструировании:

Суд открылся. Внимание рабочих было обращено в сторону подсудимого – и то, что подсудимый, г. Гауптман, сидел в хорошем пальто, и что родичи его походили на буржуев, и что жена была в шляпке с цветами, – не располагало рабочих в его пользу. (*Правда*, 01.01.1924)

Обнаружение в вещах политических коннотаций становится популярным приемом, позволяющим сделать образ врага наглядным. В раннем советском плакате для того, чтобы „раскрыть сущность врага через его поведение, [...] было вполне достаточно определенно показать классовую принадлежность „героя“ (через костюм и атрибуты)“ (Демосфенова, Нурок, Шантыко 1962, 24). У Мора, Дени, Черемных, Ротова из плаката в плакат кочуют буржуйский цилиндр, фрак, цепочка для часов или сигара, картуз и жилетка кулака. Непролетарская одежда оформляет тело врага рабочего класса и выражает его классовую сущность.

Вопрос о политической сущности самой одежды обсуждался в рамках дискуссий, развернувшихся вокруг концепта „вещь“ на левом фланге советского искусства в 1926-1930 годах. А. Родченко, В. Степанова, И. Хвойник, Н. Чужак, Б. Земенков, теоретически обосновав факт и даже механизм воздействия вещи на „личность человека“,⁴ подготовили фундамент для создания идеологии и онтологии вещи. Разделение вещей на „свои“ и „чужие“, „революционные“ и „контрреволюционные“ позволило обосновать зловерное воздействие враждебной вещи уже не только на буржуа, этой вещью сформированного, но и на советского человека. Характерно описание выходящих на Красную площадь витрин ГУМа накануне 1 Мая:

³ Об одежде и связанных с ней практиках в контексте выявления и конституирования политического тела см.: Parkins 2002. Насыщение одежды политическим содержанием в революционные и пореволюционные периоды отмечал Hunt 1984.

⁴ На „неуловимые вибрации рефлексологического воздействия“ указывал И. Хвойник:

„В посуде ли, в мебели, в костюме, в конфетной коробке, в рисунке, в расцветке обоев – всюду рассеяны неуловимые бактерии, идущие от плохо организованных, конструктивно-безобразных вещей, пропитывая наш быт и неизменно входя в нашу кровь... Гнет этих вещей на нашу психику громаден. С точки зрения массовых измерений в этих вещах скрыт заряд величайшей силы, формирующий и организующий психологию кадровых единиц.“ (Хвойник 1926, 6)

Вы идете с демонстрации... Над вами жизнерадостными птицами вьются красные знамена... Старое безвозвратно раздавлено... Но не успеваете вы оглянуться, как на вас насаждает новый „лишенец“ в котелке и новая „лишенка“ в мантии. Они протягивают вам из витрины негнувшиеся руки, пытаюсь загасить ваш энтузиазм и разложить вашу волю. Они зовут вас в мещанский уют. (Рогинская 1930, 9)

На убеждении в непротиворечивом соответствии одежды, манеры поведения и социальной принадлежности было построено и дедуктивное расследование, проведенное рабочим с фабрики „Буревестник“:

Что такое конторщик? В вашем воображении немедленно возникает существо скромное и тихое [...]. Конторщик Михеев не таков: он подвижен, легок, кипуч, говорит сладенькой скороговоркой прасола, и было бы неудивительно, если бы он одевался как просол – в сапогах, в вышитой рубашке, спускающейся ниже пиджака, в картузе из синего сукна, порыжевшего по краям... (Правда, 28.06.1929)

Михеев, действительно, оказывается торговцем мукой с Сухаревки, и, следовательно, метод воображаемого переодевания себя оправдывает. Политическое тело и представляющая его вещь мыслятся как нечто неразрывное, а в политическом дискурсе конца 20-х – начала 30-х гг. сокрытие „подлинного лица“ нередко называется „фарсом с переодеванием“.

Вместе с маркированными способами использования тела и опознанными формами инкорпорации старого режима гардероб был включен в сложно структурированный комплекс „другого тела“.⁵ Некоторые из конституирующих его техник – походка, осанка, мимические маски, общая манера держать себя – с трудом артикулировались в пролетарском дискурсе. Они отливались в общее ощущение „буржуазности“ („по нем сразу видно – вылитый буржуй“). Другие (например, гигиенические) практики попадали в поле более дифференцированного восприятия. На „ненависть простонародья“ к „чистым господам“ указывает Татьяна Смирнова, реконструируя представление о „буржуях“ на уровне обыденного сознания победившего класса.⁶

Впрочем, и сама плоть оказывается затронутой классовой трансформацией. О том, что тело является серьезной уликой против буржуя, напрямую заявлял член Исполкома Петросовета С. Зорин. По его утверждению, „обвинением против буржуазии должно служить его выхоленное лицо, его руки без мозолей“ (Петроградская правда, 27.09.1919). Отличие между натруженным телом и телом не обремененного работой человека получает

⁵ Об инвентаризации и конструировании идеологически маркированных техник тела в советском кинематографе 1920-1930-х гг. см.: Булгакова 2005.

⁶ См.: Смирнова 2003, 33.

рациональное обоснование в работах социальных гигиенистов, посвященных динамике колебаний роста и веса у представителей разных социальных групп. Так, С. Каплун приводит данные Ливи о „более низком росте у крестьян,“ объясняемом „механическими влияниями, задерживающими рост“ (Каплун 1924, 29). В. Колдобский экспериментально доказывает гипотезу о зависимости роста от условий и характера деятельности организма в течение суток. Он утверждает, что

чрезмерное обременение организма физической работой, не компенсируемое достаточным сном, в особенности, если у этому присоединяется неудовлетворительное питание, может по-видимому с течением времени вызвать стойкое уменьшение роста и последний за время отдыха уже не возвращается к прежней длине. (Колдобский 1927, 37)

В то же время в научном дискурсе первой половины 1920-х годов реализуется и прямо противоположная стратегия: стигматизируется и подвергается медиализации тело, лишенное следов трудовой деятельности. Например, популяризатор идеи „биосоциальной или пролетарской евгеники“ ламаркист М.В. Волоцкий утверждает, что „классы, ведущие паразитический образ жизни, дегенерируют, тогда как трудовая деятельность позволяет пролетариату сохранять возможность к развитию, несмотря на бедность, невежество и нищету“ (цит. по: Колчинский 1999, 118). Профессор медицины В. Гориневский также констатирует наличие взаимосвязи между отвратительными телесными формами и отвратительными поступками.⁷

Эквивалентность физического, морального и классового отклонений регулярно подтверждается и в политическом дискурсе. Буржуазные тела исключаются из биологической нормы, делая видимой и прозрачной политическую сущность буржуазии. Эта процедура описывается в терминах разоблачения и демонстрации „подлинного лица“ классового врага.⁸ Позитивные тела без мозолей не отражают истинной природы врагов советской власти, а потому моментально уступают место гротескным усохшим телам „бывших“ и жиреющим эксплуататорам с тройными подбородками, бычьими шеями и уродливыми животами.⁹ Если дистрофические тела бывших свидетельствуют об их нежизнеспособности, то тела ожирения – это овеществленная метафора паразитирования, неумеренного потребления незаконно присвоенных ресурсов:¹⁰

⁷ См.: Гориневский 1922.

⁸ См.: Поволоцкая, Иоффе 1948, 6.

⁹ О стратегиях медиализации и патологизации тучности и ожирения в конце XIX-начале XX вв. см.: Stearns 1997.

¹⁰ Стратегия перевода дефектов экономики денег в наглядную и зрелищную витальную экономику наиболее полно выражается в риторике политического вампиризма, актуальной для советского дискурса 1920-1930-х гг. По всей видимости, впервые полити-

Подсудимый ваточный фабрикант А.Н. Желтов очень красочная фигура. Ему сейчас только 28 лет, но он с трудом уже поворачивает свою жирную шею и, перегибаясь вперед, старается по возможности замаскировать выдающуюся округлость своего живота. Это ему плохо удается, как не удастся представить себя перед пролетарским судом рабочим [...] На суде же выяснилось, что в лице Желтова мы имеем типичного эксплуататора [...], старающегося извлечь из рабочего больше выгоды при минимальной оплате его труда. (*Правда*, 15.05.24)

Показательно, что развернутая характеристика классово чуждого телосложения фактически вытесняет описание противоправных действий, превращаясь не только в биополитический, но и в юридический факт. А тема „спрятанного пуза“ еще неоднократно будет воспроизводиться в советских контекстах, обозначая стремление скрыть политическую идентичность: „Хотя | буржуй | и лицо перекрасил | и пузо не выглядит грузно – | он волк, | он враг | рабочего класса, | он должен быть понят | и узнан“ (Маяковский 1928, 48).

Создается впечатление, что различие между революционными массами и „всеми теми, кому раньше жилось хорошо“, переживается в раннюю советскую эпоху как нечто предельно конкретное, вынесенное на поверхность тела и иногда непосредственно сведенное к инаковости этого тела. Конструкты телесности были наполнены острым классовым содержанием и, таким образом, включены в процесс как спонтанного, так и вполне сознательного производства политического знания о субъекте.

ческие вампиры были упомянуты англичанами еще в 1732 году по ходу рассуждений о жадности должностных лиц, которые своей налоговой политикой иссушают общественные доходы. Старый большевик и создатель первого в мире Института переливания крови А. Богданов разделял всех людей на „рабочников“ и „вампиров“ по принципу социально-политической и энергетической политэкономии: „Как только наступает момент, когда он (человек) начинает брать у жизни больше, чем дает ей [...], он не только паразит жизни, он ее активный ненавистник, он пьет ее соки, чтобы жить и не хочет, чтобы она жила...“ (Богданов 1990, 205). Едва ли социально-эзотерическая доктрина Богданова повлияла на ход „триумфального“ шествия вампиров-эксплуататоров по советским дискурсивным пространствам. Скорее всего, и она, и актуальная политическая риторика, усвоенная массами, свидетельствуют об интеграции в советский дискурс фольклорных, эзотерических и литературных стратегий некротического отчуждения. В рабселькоровских заметках, в письмах с мест ссылка на политико-экономический вампиризм является универсальным способом маркировки чуждых, опасных или просто подозрительных элементов. Так, крестьяне из села Козино пишут М.И. Калинин о кулаке гр. Макарове (1919 г.): „...Эксплуатор, буржуй, вечно эксплуатирующий чужой труд и всегда ездящий на шее трудящегося. Этот кровавый вампир общества имел при царизме массу рабочих столяров, которыми он и распоряжался...“ (*Письма...* 1998, 197)

Политические монстры

Анализируя телесную деформацию врага в раннем советском „антивражеском“ плакате, Ш. Плаггенборг размышляет о выходе такого изображения за пределы собственно политической аргументации: „Враг превратился в нечто большее, чем „просто“ противника, это был больной, выродок, язва на теле человечества“ (Плаггенборг 2000, 198). Автор настаивает на том, что „такая стилизация превращает врага в опасного и озверелого дегенерата. Это патологический, аномальный случай“ (там же). Причины распространения „этой зловещей и антигуманной манеры“ Плаггенборг видит в заимствовании советскими плакатистами европейских изобразительных средств времен Первой мировой войны, на которые повлиял социальный дарвинизм.

И все же в рамки социального дарвинизма с трудом вписываются тела, показанные на предделе не столько биологического, сколько онтологического отчуждения: зверь-капитал, гидра империализма, беломонархические гадюки, мироеды и людоеды. Они конкретизируют мировое и классовое зло, для визуализации которого советская пропаганда заимствует визуальные стратегии из репертуара христианской демонологии, ее оккультных переработок и народного лубка.¹¹ Главный ресурс наглядной демонической риторики – метаморфичные тела, лишённые „красоты, гармонии, реальности и структуры“ (Рассел 2001, 164-165), а также их метонимические производные (от разинутой пасти до хвостов и копыт). Валентина Ходаевич так описывает персонажей одного из массовых праздников:¹²

У Муссолини вращались глаза со свастикой вместо зрачков. У Цергибеля вместе с каской поднимались дыбом волосы. У Бадэн-Пауэля открывался рот, высовывался язык, и его рвало зеленым огнем фейерверка [...] Чан Кайши окаливал пасть и у него выпадали зубы. (Ходаевич 1987, 229)

¹¹ Демонологические коды можно обнаружить и в европейской политической карикатуре времен Первой мировой войны (однако там они используются локально и сохраняют уничтожительно-иронический характер, тогда как советские демоны отвратительны и ужасны). См., например, открытку Антанты времен Первой мировой войны, на которой изображен демонизированный император Вильгельм II. Император имеет вид черта с рожками, заостренными ушами и кокетливо переброшенным через руку хвостом (опубл. в: Рассел 2002, 322).

¹² Об образе врага в советской праздничной культуре начала 1920-х гг. см.: Малышева 2005, 302-312.

Визуально выявленная инаковость такого врага свидетельствует о его исключительной враждебности, а формы, которые эта инаковость принимает, развязывает руки борцам со злом.¹³

Установка на персонафикацию „мирового зла“ определяет вектор иконографии врага страны Советов:¹⁴ универсальные приемы визуального отчуждения должны работать на создание образов „конкретных носителей зла“. В результате знаки, позволяющие идентифицировать политических противников („костюмы и атрибуты“), были сплавлены с демоническими кодами. В итоге кулак мог быть изображен как свинья в фуражке и жилетке или как вампир-алкоголик в том же облачении.

Образ такого врага овнешнен и клиширован настолько, что „враги“ нередко сливаются в единую массу, как, например, в карикатуре Бориса Ефимова „Пролетарское око“ (1924). Рабочий с потайным фонарем с надписью „ВЧК“ освещает черное месиво врагов, различимых лишь по „атрибутам“ – белогвардейской фуражке или буржуазному котелку. И лишь под фонарем видны этикетки: „спекуляция“, „заговор“, „шпионаж“. Что это? Произвольное приписывание антисоветских действий персонажам, одинаковым в своей враждебности рабочему классу? Отказ от дифференциации или неумение провести различие? Впрочем, уже начиная с середины 1920-х годов, недифференцированное восприятие „чуждых элементов“ и их репрезентация как типичных в своей метаморфичности тел все чаще подвергаются критике. Позже эта точка зрения находит отражение в официальной истории советского плаката:

Вторым, часто встречающимся недостатком плаката является графическая штампованность, штампованность художественного образа – изображение буржуазии идиотами, вечно пьянствующими, РКИ – в виде рабочего с потайным фонарем или рабочего, выметающего метлой бюрократов, волокитчиков. (Масленников 1962, 344)

Теперь куда важнее проникнуть в душу врага, чем отыскивать признаки политической инаковости на поверхности. От изображения внешних уродств советский художник должен перейти к демонстрации „не менее уродливых действий“ и сущностей. Здесь о многом говорил „рост“ врага. При обзоре советской визуальной продукции можно узнать, что враги бывают пугающе огромными, а значит, исключительно опасными, разномасштабными (как, например, у Д. Моора в плакате „Врангель еще жив“ (1920), где гигантская рука прибитого к земле Врангеля нависла над Дон-

¹³ Об этой санкционирующей функции демонического образа врага, выводящего действия в отношении политического противника за пределы рациональности и права, см.: Гюнтер 2000; Плаггенборг 2000.

¹⁴ О визуальной репрезентации демонологии большевиков в советском плакате 1920-1930-х гг. (в частности, дегуманизации образа врага) см. Bonnell 1998, 186-242.

бассом). Враги могут превратиться и в ничтожных, но все же злобных карликов. Их „рост“ зависит от политической конъюнктуры и позиции интерпретатора, но он никогда не равен физическому росту героя.

В советском дискурсе можно обнаружить как минимум две установки на восприятие размерности противника. Первая основана на визуализации масштаба угрозы. Ее выразил Лев Бородаты, рассказывая об измельчании плакатных врагов и возмужании героев по мере укрепления советской власти: „Если проследить за три года, то можно получить такую кривую – ‚Окна сатиры‘ дают все больше рост рабочего, а буржуи все уменьшаются и уменьшаются“ (цит. по: Демосфенова, Нурок, Шантыко 1962, 60). Вторая установка представлена в культуре 1930-х годов сталинским тезисом о непрекращающемся росте врагов. Советская машина массовых зрелищ формулировала его не менее убедительно. Так, Валентина Ходасевич вспоминает о массовой инсценировке на стадионе „Динамо“ во время закрытия первого Всесоюзного слета пионеров в августе 1929 года:

И вдруг поле огласили страшные какофонические звуки странного рева и визга и [...] из-за западной стены стадиона стали медленно подниматься колоссальных размеров Муссолини, епископ Кентерберийский, Бадэн-Пауэль, Цергигель. Высунувшись из-за стены до пояса, они являли собой внушительное зрелище, ибо только головы их были метров до пяти. (Ходасевич 1987, 229)

Эти гигантские тела только на первый взгляд служат устрашению („потом их расстреляли и подоженные уже настоящим огнем они сгорели дотла“ – Там же). Их главная функция – стать строительным материалом для рождения советского героя.¹⁵

Гротескные сине-зеленые страшилища из советских плакатов и сатирических журналов рассчитаны на „умелое видение“ подкованного зрителя:

Адмирал Колчак в изображении Кукрыниксов показан на первый взгляд едва ли не с традиционной портретностью, но, приглядевшись, видишь – каково оно, истинное „лицо врага“: Колчак похож то ли на стервятника, то ли на крысу, жрущую трупы. От него веет могильным холодом, смертью, тленом. (Каменский 1973, 7)

¹⁵ Годом раньше, в речи, посвященной итогам июньского пленума ЦК, Сталин уже обосновал эту порождающую функцию врага. Генсек напомнил, что именно Колчак заставил большевиков создать пехоту, Мамонтов – кавалерию. Теперь тов. Сталин откровенно рассчитывал, что „наши хлебные затруднения“ и „шахтинское дело“ тоже принесут свои „благодотворные результаты“, „не пройдут и не могут пройти даром для нашей партии“ (Сталин 1949, 217-218). Продуктом борьбы с врагами труда – вредителями в каком-то смысле стали герои труда – стахановцы.

Советская риторика определяла горизонт ожидания такого зрителя и „ставила“ его глаз, предлагая категориальный аппарат и модели интерпретации увиденного. В разинutom рте видели „зияющую могильную яму“, в выпученных глазах – „глаза, полные звериного бешенства“, в совместных изображениях недругов – „кровавый шабаш“, в протянутой руке – „костлявую лапу, готовую в любой момент задушить молодую Советскую республику“. Здесь, безусловно, был выработан свой „язык политических жестов“ и „политическая физиогномика“. Визуальный образ и слово сохраняли единство, дополняя друг друга.

Красный бестиарий, опирающийся на отождествление политического противника с нечистыми животными, постоянно балансировал на грани изображения и опредмеченной метафоры.¹⁶ Советский антимир кишит хрестоматийными бестиями: змиями и змеями („в минувшем 1926 году родились две фашистские гадюки: фашистская Польша и фашистская Литва“ (*Правда*, 1.01.1927)), драконами, гидрами, жабами, воронами и, конечно, волками („матерый волк, бывший подполковник Козликин с ампутированной ногой, лежа на кушетке, оглядывает своих сторонников по грабежу“ (*Молот*, 13.08.1924)). Традиционный набор дополняли пауки („и здесь расплодилось целые династии пауков-кулаков“ (*Правда*, 1.01.1925)) и акулы („На первом плане нэпманы. Это старые прожженные акулы“ (*Правда*, 21.05.1924)).

Исключительно оригинальны „советские химеры“ – странные существа, получающиеся в результате приписывания одному враждебному персонажу признаков сразу нескольких животных. Скажем, ростовская газета „Молот“ дала яркую характеристику действиям подозрительного „спеца“: „Другие же сейчас уже могут заметить, как г. Терешенко выпускает когти из бархатных своих лапок, как мало помалу расправляет он свои паучьи лапы“ (*Молот*, 4.09.24.). Гибрид кота и паука выглядит достаточно мрачно и имеет однозначно негативную окраску. Не меньше поражает монстр, в котором сплавлены ворон и змея, созданный одним из корреспондентов „Правды“: „Черное воронье – кулаки и спекулянты всякого сорта – уже подняли головы и зашевелились“ (*Правда*, 2.07.1924). Приведенные примеры интересны не столько как курьез или дефект в работе корректора, сколько как случай обнажения приема. Наличие этих дискурсивных осечек позволяет проследить, каким образом политическому персонажу придается зооморфный вид. Первое, что обращает на себя внимание, это факт неполного отождествления с тем или иным богомерзким животным, а также изби-

¹⁶ О. Цехновицер приводит случаи, когда для первомайских празднеств и демонстраций начала 1920-х годов Ленинградский зоологический сад и госцирк предоставляли вполне реальных животных – ослов, гиен, свиней, лисиц – для „аллегорического представления деятелей зарубежного империализма и капитала“ (цит. по Малышевой 2005, 303).

рательное использование акцентированных характеристик их внешности или повадок. Второе – это, собственно, наличие устойчивого набора таких характеристик. Третье – их использование по принципу конструктора в качестве эквивалентных и взаимозаменяемых признаков. Очевидно, речь идет не столько о разработке бестиария как такового, где каждое существо имеет свою демоническую нишу, сколько о присвоении врагу важнейших и в то же время недифференцированных свойств зверя.

Прямое указание на обобщенно звериную природу также встречается довольно часто: „По отзывам политических заключенных, Ковалев был в полном смысле человек-зверь“ (*Правда*, 10.01.1924). Неоправданная жестокость, низменные инстинкты, хищность, неконтролируемая агрессия, жажда крови и смерти, коварство, дикость – вот далеко не все качества, которые приобретает политический персонаж в результате негативной зооморфной маркировки, верном способе антропологического исключения: „Чубаровцы, это люди, потерявшие не только рабочий, но и всякий человеческий облик. Чубаровцы – это звери“ (*Правда*, 29.12.1926).¹⁷ Коль скоро важно продемонстрировать факт внутреннего перерождения, подчеркнуть, что „люди, сохраняя свой человеческий облик, ведут себя как хищники и пресмыкающиеся“ (Каминский 1973), политические персонажи редко предстают полностью перевоплощенными в „грязных животных“. Зооморфные метафоры лишь уточняют и придают форму политической идентичности.

Исключением из числа тех, что подтверждают правило, выглядит фильм „Воздушная почта“ (реж. Д. Познанский) – „еще один фильм про детей-героев“, о съемках которого в 1939 году на страницах „Советского кино-экрана“ рассказал автор сценария. В. Крепс описывает „Воздушную почту“ как фильм одновременно типичный („показан героический облик советского человека“ и „великий гуманизм Советской страны“) и уникальный в своем роде: „Авторы решили отказаться от традиционных путей в построении сюжета. В сценарии нет ни диверсантов, ни вредителей, ни ‚шляп‘, ни перековывающихся злодеев. В нем нет ни одного отрицательного персонажа“ (Крепс 1939, 12) – что, впрочем, не совсем точно.

Фильм рассказывает о мирных, но героических буднях советского человека. Комсомолка, пилот третьего класса Настя Королёва должна доставить противодифтерийную сыворотку в таежную больницу. В результате поломки самолета она совершает вынужденную посадку в заснеженной тайге, где ей приходит на помощь четырнадцатилетний охотник Антон Иванович – „опытный и отважный обитатель тайги“. В сценарии, действительно, нет

¹⁷ Статья под заголовком „Обыкновенные парни“, которая подводит итог разбирательству по громкому „чубаровскому делу“ (подробнее см. Найман 2002), Д. Заславский начинает весьма показательно: „Звери‘ или ‚обыкновенные парни‘? – неизменно более важный вопрос для советской общественности, чем вопрос о юридической квалификации преступления“.

типичных для этой эпохи злодеев, но враг все же есть. На пути советских людей встают сильные и опасные волки, которые выполняют в истории функцию „вредителя“ и в нарратологическом, и в идеологическом смыслах. Волк предстает в своей главной символической ипостаси „чужака“, а описание борьбы с ним киногероев выдержано в высоком политическом штиле. Дискурсивные формулы 1930-х годов, выработанные для демонстрации звериной сущности политического противника, здесь натурализуются.

„Мертвый хватает живого“

Когда отживают целые классы общества, то мертвецы рождают мертвецов.

А. Богданов, *Красная звезда*, 1908

„Мертвый хватает живого“ – так назывался очерк, опубликованный корреспондентом *Правды* А. Зоричем в феврале 1923 года. В статье, написанной на волне массовых расправ над селькорами, на первый взгляд нет ничего необычного. Рассказывается история убийства деревенского активиста кулаком. При этом автор заостряет ощущение непроходимой пропасти между политическими антагонистами, размещая их в разных временах: „Между ними лежат сотни лет. А судьба сделала их соседями“ (Зорич 1923). Из этого различия Зорич выводит принадлежность своих персонажей к разным мирам – один из них мертв. Мертвым, с точки зрения корреспондента, является кулак, поскольку он есть пришелец из „мертвого мира“, старорежимного прошлого. А его действия – это агрессия уже не только классово, но и онтологически чуждого существа, нежити. При этом корреспондент „Правды“ выворачивает наизнанку фольклорный сюжет об опасности, которую представляют для живых те, кто умер насильственной смертью. Наличие фольклорных аллюзий подтверждается названием статьи, по всей видимости, рассчитанной на двойное прочтение. С одной стороны, это пропагандистский очерк об идеологически значимом преступлении, а с другой, на уровне суперструктур дискурса, – быличка о „заложном покойнике“, „мертвяке“, „вешальнике“, „нечистике“, задуманная с поправкой на то, что „живое“ и „мертвое“ являются не биологическими, а политико-онтологическими состояниями души и тела.

В течение 1920-х годов партийная печать неоднократно обращалась к идиоме „мертвый хватает живого“ для описания враждебных действий врагов. Так было, например, во время шахтинского процесса. Его главные персонажи, вредители-шахтеры, действующие под землей, вполне подходили на роль выходцев с того света:

А сейчас в этом зале – наше горькое и печальное историческое вчера... По пословице „мертвый хватает живого“. Вот эта серая, понурая группа людей, разместившаяся направо от судий, мертвыми руками хватаясь за живую молодежь нашу, за новую жизнь. Зарубежные классовые враги с затаенным дыханием ждали, что подлинно мертвой будет эта хватка и в объятиях непогребенных покойников задохнется новая, молодая стройка. (*Правда*, 19.05.1928)

Политические мертвецы и их действия рассматриваются как источник постоянной онтологической опасности: „Они являются, к живым для того, чтобы вредить“ (*Правда*, 3.01.1924); „Расчет, конечно, дьявольски тонкий [...]. Таким образом, эти трест-дельцы не просто воруют [...]. Они убивают незримо [...]. Они незримо сживают со света, топят в своей зловонной грязи живую силу хозяйственного возрождения страны“ (*Правда* 3.01.1924). Коды народной демонологии накладывают отпечаток и на риторику борьбы с этими врагами. Например, процедура „критики и самокритики“ рассматривается как аналог эксгумации, обязательной в деле борьбы с активным покойником: „Нужно вытаскивать всяких ‚лакированных‘ на свет и показывать всей партии. Партия их выкопает“ (*Правда*, 12.05.1928). Не обходится и без обязательного в таком деле оружия: „Победить старый быт, значит, вбить осиновый кол в могилу капиталистического строя“ (*Правда*, 10.02.1924).

В структуре поляризованной советской реальности жизнь и смерть не были идеологически нейтральными категориями. Еще в 1919 году Федор Старый писал: „Смерть – явление не беспристрастное – она, согласно экономическим законам, разделила давно людей на классы и к различным классам имеет различное отношение“ (*Правда*, 7.11.1919). В годы гражданской войны, голода, разрухи в ней видели союзницу врагов революции. Достаточно вспомнить антивражеский плакат Д. Моора „Враг у ворот | он несет голод и смерть. | Уничтожьте черных гадов! | Вперед“ (1919), изображающий наступление Юденича на Петроград. Гигантский черный орел несет в когтях смерть – знакомый скелет в плаще, направляющий полет монархической птицы. Уже в сталинской культуре эта тема получила интересное развитие. В 1930 году был снят фильм „Заговор мертвых“ (реж. С. Тимошенко) „о наступлении Юденича на Петроград, о защите города, о героизме победителей и обреченности мертвых, т.е. врагов революции“.¹⁸ Под ретроспективным взглядом враги из „союзников“ смерти превращаются в ее „поданных“, мертвых.

Политизация смерти находит отражение в претензиях власти на определение витального статуса политического субъекта: теперь власть претендует на право определять, кто является живым, а кто – мертвым. Один из

¹⁸ См.: *Советское кино*, 1935, 1, 19.

первых шагов на этом пути – локализация смерти в „ином“ советской реальности. От страны Советов смерть дистанцирована во времени (перенесена в дореволюционное прошлое) и в пространстве (враждебная граница неизменно описывается в конструктах „загнивания“, „инобытия“, „распада“). Противостояние „того света“ и советской реальности наглядно показано в статье Н. Кольцова о процессе по делу киевской шпионской организации:

Одно сыплется, размякает. Объективно и субъективно. Раскисает в безысходную мертвую жижу. Другое – твердеет, крепнет, закаляется в огне. Острей, становясь ударным, колющим, режущим [...]. Этот судьбы отдельного человека? Нет, это судьба класса. (Кольцов 1924)

Таким образом, второй шаг на пути экспроприации смерти – превращение её в классовую характеристику. Принадлежащие к „раскисающему“ классу или сохраняющие связь с иной реальностью скопом представлены в советском дискурсе „мертвыми“ или „выходцами с того света“.

В 1927 году *Огонек* публикует очерк Н. Погодина, который так и называется: „Гость с того света“. Главный персонаж – солдат, возвращающийся на свой завод из двенадцатилетнего турецкого плена ровно к десятилетию революции. Он сохранил нищенские лохмотья, старорежимные привычки и сценарии поведения (кланяется бывшему хозяину, ныне „спецу“, робеет, унижается). Иностранность персонажа с точки зрения советского наблюдателя выводится из совмещения „заграницы“ и „прошлого“ и описывается как принадлежность к антимиру: „Он пришел к нам из прошлого, явился выходцем с ‚того света‘, который мы так прочно забыли“ (Погодин 1927, 10).

„Остатки старорежимного прошлого“ и „бывшие люди“ нередко описываются в категориях „живых мертвых“, когда „потустороннее существование“ политического агента показано как извращенное и неправомерное присвоение жизни теми, кто не имеет на нее права. М. Горький в „Петербургских типах“ создает галерею политических мертвецов. Это „бывшие“ жители „бывшего“ города:

Высокий темнолицый старик с провалившимися глазами, кривым носом и зеленоватой бородой, вежливо приподнял шляпу с дырой в тулье [...] На Семеновской улице, прижавшись к церковной ограде, стоит женщина лет сорока: желтое лицо ее опухло, глаз почти не видно, рот полуоткрыт, словно она задыхается, [...] голову украшает соломенная шляпа с измятыми листьями и одной ягодой вишни; ягод была целая гроздь, но осталась только одна [...] В красных узеньких шелках опухших глаз ее светится что-то недоброе, сухое и режущее. Проходя мимо, я слышу хриплый голос, резкие слова: „Последний

порядочный человек в этом городе умер 19 лет тому назад“ [...] Около Народного дома трется между людей остроглазый старичок в порыжевшем котелке, в длинном драповом пальто с воротником шалью [...] У него [...] круглые мерцающие глаза ночной птицы, под ястребиным носом серые, колючие усы, а на подбородке козлиный клочок светло-желтых волос [...] Несомненно, он тоже вылез из какого-то темного угла, куда его затолкала жизнь и где он годы одиноко торчал, корчился, накапливая злобу и месть. (Горький 1951, 312-314)

При всем богатстве характеристик образ „бывших“ конструируется по одним и тем же лекалам: „бывшее тело“ (мертвое, старческое, больное, зооморфное) → „бывший гардероб“ („порыжевший“, „дырявый“, старомодный, обветшалый) → злоба / неприятие всего „нового“, „живого“ (электричества, революции, советского человека, его бодрости и активности). Обладатели бывших вещей, несущие на себе печать распада, показаны как пришельцы из другого, глубоко враждебного мира – дореволюционного прошлого.

Если Горький представляет коллекцию тел и вещей, захваченных тленом и смертью, то Демьян Бедный отождествляет политические и телесные останки. Политический труп показан им как реальное в своей неприглядности мертвое тело: „И не вернуть дворянам власти: | Увы, мясистые их части | Весь потеряли прежний тук, | В гробу воняет их утроба | И входят гвозди в крышку гроба | Под молотков веселый стук“ (Правда, 26.07. 1919). Чем более натуралистично и беспристрастно описание тела покойника от идеологии, тем более абсурдным и пугающим выглядит его существование в советской реальности: „Старуха с мертвым бронзовым лицом сонным речитативом читала псалом, полузакрыв глаза и сложив на животе скрюченные пальцы“ (Дружинин 1930, 9).

Разоблачение в живом мертвце агента социального зла – не столько литературный прием, сколько дискурсивная стратегия эпохи. Карикатура реконструирует два лика политической нежити – непримиримую злобу (оскалившийся череп в папаше – Махно у Кукрыниксов) и враждебное бессилие (великий князь Николай Николаевич у Б. Ефимова – скелет в пропахшем нафталином шкафу). „Чуждым элементам“ и „врагам рабочего класса“ в зависимости от степени их контрреволюционности приписываются различные знаки отвратительной смерти – от физиологического („Единый храм – это гниющий труп остатков буржуазии в нашей стране“ („Единый храм“, 1930, 7)) до демонического („буржуй, эксплуатирующий чужой труд, этот кровожадный вампир общества“ (Письма... 1998, 157)).

Фиксация инобытия лишенных явных признаков жизни тел подсудимых становится характерным приемом обвинительных репортажей из зала судебного заседания. Так, корреспондент „Безбожника у станка“ описывает процесс над сектантами: „У подсудимых – блеклые пергаментные лица, глухие

монотонные голоса, глаза без блеска и выражения...“ (Дружинин 1930, 9). Для советского наблюдателя враждебные тела как бы заранее захвачены смертью, а потому обнаружение ее следов и политическое доказательство вины совпадают.

Мертвыми являются не только „бывшие люди“, но и бывшие соратники. „Мертвые шагают быстро“ – так называется статья Емельяна Ярославского о троцкистах.¹⁹ Более того, в каждом советском человеке есть толика небытия, которая укореняет его в мире ином – это старые привычки, нравы. Абрам Сольц призывал каждого „изжить в себе старого человека“ и „нажить нового“: „Ведь старый человек еще жив, ведь мертвое, отжившее еще крепко цепляется за живое и душит его, ведь личное еще недостаточно связало себя, слило с общественным“ (Правда, 3.07.1928). Сплавить „личное“ с „общественным“ пробовал А. Богданов в ходе взаимного переливания крови от товарища к товарищу.²⁰ Избавление от „старого человека в себе“ представлялось не столько специальной биотехнологической задачей, сколько универсальным партийным эликсиром жизни.

В этих обстоятельствах силу имеет и обратное утверждение: быть мертвым означает находиться на территории политического врага. А потому острое политическое звучание приобретает, казалось бы, нейтральная дефиниция крематория в статье-агитке: „Крематорий – это отвоевывание земли от мертвых для живых“ (Маллори 1927, 18). Пропаганда кремации начинается в 1923-1924 гг. сотрудниками Института социальной гигиены (Лазарев 1923).

В деле „обеззараживания трупов“, как еще называют кремацию в советской печати, особое внимание уделяется превращению церемонии в технологический процесс, разрушению традиционных практик погребения, а вместе с ними и представлений о смерти, апеллирующих к религии и народным верованиям. Деконструкция традиции воспринимается советским интерпретатором как тактическая победа над смертью: „И все же легенды, иллюзии отмирают, мертвое теряет власть над живым“ (Кольцов 1928). Рациональное отношение к смерти, с точки зрения автора, – это эффек-

¹⁹ *Большевик*, 1929, 18.

²⁰ Богдановым была разработана доктрина „физиологического коллективизма“, согласно которой избавить человека от „вампиризма жизни“ могла интеграция в коллектив, достичь которой можно путем взаимного переливания крови от товарища к товарищу. Впервые идея о гематологической основе коллективизма, своего рода „искусственным“ кровном родстве, была предложена в романе-утопии Богданова *Красная звезда* (1908), вложена в уста марсианки и представлена в качестве мощного субстанционального основания социалистического общества марсиан. На путях практического достижения новой антропологии Богданов начал серию экспериментов (для него закончившуюся печально) по взаимному переливанию крови от „молодых товарищей“ „старой партийной гвардии“. Предполагалось, что кровь молодых позволит избавиться ветеранам партии от „вампиризма идеи“, догматизма, „т.е. начать жить по-человечески“. Подробнее об этом см.: Одесский 1995.

тивный способ овладения ее тайнами, важный шаг на пути овладения тайнами жизни („химически создавать тайны человеческого тела“). Неудивительно, что автор репортажа, М. Кольцов, побывавший „в гостях у смерти“, выбирает советский стиль обращения с нею: „А все-таки из двух способов погребения – старого и нового – мы все же выбираем третий – жить!“ (Там же).

Действительно, героическая и социально-полезная плоть в политическом дискурсе 20-х гг. существует в той реальности, откуда смерть изгнана. Это позволяет понять удивительную особенность официальных некрологов той поры: самые хорошие (а в политико-витальных терминах эпохи – самые живые) люди всегда умирают внезапно (даже если они были долго и неизлечимо больны): „Внезапно напало на тов. Свердлова чудовище смерти, в несколько дней смяло, скрутило и уничтожило эту молодую жизнь, разбило на куски драгоценный сосуд неисчерпаемой революционной энергии“ (*Правда*, 18.03.1919). Анализируя некролог, написанный Бухариным на смерть Свердлова, К. Кларк справедливо отмечает, что „Свердлов из бухаринской статьи не похож на типичного жертвенного князя из дореволюционной агиографии радикалов“ (Кларк 2002, 69). Он открывает галерею героев, которые продолжают свое существование в советском универсуме и после кончины. Очевидная „контрреволюционность“ самого факта смерти и политико-онтологическая подозрительность ко всему „мертвому“ нейтрализуется указаниями на то, что усопшие до конца были „полны жизнью“ и сумели сохранить это свойство при себе: „Он ушел от нас еще полный сил, энергии и революционного энтузиазма“.

Тем самым в советском дискурсе 20-х складывается ситуация, когда политические чужаки рассматриваются в качестве „живых мертвецов“, а герои показаны „мертвыми живыми“, которые и „под землей“ сохраняют базовые качества советского человека: „Лучше я ночной порою, | Погибая на седле, | Буду счастлив под землею, | Чем несчастлив на земле...“ (Светлов 1974, 210). Умершего вождя быть „живее всех живых“ обязывает его исключительный социально-политический статус самого лучшего человека. Только в пределах идеологического оценивания жизни/смерти теряет свою абсурдность траурный плакат 1924 года: „Ленин умер, Ленин жив, мы победим“. Конвертация витального события в политическое выступает метафизическим обоснованием советской реальности. На этом пути политические тела переживают свои катастрофы.

Литература

- Богданов, А. 1990. Инженер Мэнни. Фантастический роман, *Вопросы социализма*, М., 204-284.
- Булгакова, О. 2005. *Фабрика жестов*, М.
- Гориневский, В. 1922. „Научные основы тренировки“, *Физическая культура*, 1, 4-7.
- Горький М. 1924. „Петербургские типы“, *Собрание сочинений в 30 томах*, т. 15. М., 1951, 311-329.
- Гюнтер. Х. 2000, „Архетипы советской культуры“, Х. Гюнтер, Е. Добренко (ред.), *Соцреалистический канон*, СПб., 743-785.
- Демосфенова, Г., Нурок, А., Шантыко, Н. 1962. *Советский политический плакат*, М.
- Дружинин, В. 1930. „У духоборов Закавказья“, *Безбожник у станка*, 2, 9.
1930. „Единый храм“ Дмитрия Шульца, *Безбожник у станка*, 5, 6.
- Зорич, А. 1923. „Мертвый хватает живого“, *Правда*, 12. 02.
- Каминский, А. 1973. „Муза политической сатиры“, *Кукрыниксы. Политическая сатира 1929-1946*, М., 3-33.
- Каплун, С. 1924. *Санитарная статистика труда*, М.
- Кларк, К. 2002. *Советский роман: история как ритуал*, Екатеринбург.
- Колдобский, М. 1927. „О суточных колебаниях роста и веса“, *Социальная гигиена*, 2, 27-42.
- Колчинский, Э. 1999. *В поисках советского „союза“ философии и биологии*, СПб.
- Кольцов, М. 1924. „Две силы“, *Правда*, 9. 04.
- 1928. „В гостях у смерти“, *Правда*, 12. 02.
- Крепс, В. 1939. „Образы молодых героев на киноэкране“, *Советский киноэкран*, 10, 12.
- Лазарев, В. 1923. „О выставке по кремации при Государственном институте социальной гигиены“, *Социальная гигиена*, 3-4, 10-11.

- Маллори, В. 1927. „Огненные похороны“, *Огонек*, 50, 18.
- Малышева, С. 2005. *Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, исторические мифы (1917-1927)*, Казань.
- Масленников, Н. 1962. „Плакат и лубок“, *Борьба за реализм в искусстве 20-х годов. Материалы, документы, воспоминания*, М.
- Маяковский, В. 1928. „Лицо классового врага“, *Полное собрание сочинений*, т. 9, 1958, 45-55.
- Найман, Э. 2002. „Чубаровское дело: групповое изнасилование и утопическое желание“, Балина М., Добренко Е. Мурашов Ю. (ред.), *Советское богатство: Статьи о культуре, литературе и кино*, СПб., 52-83.
- Одесский, М. 1995. „Миф о вампире и русская социал-демократия“, *Литературное обозрение*, 3, 77-92.
- Плаггенборг, Ш. 2000. *Революция и культура. Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма*, СПб.
- Поволоцкая, Е., Иоффе, М. 1948. *Тридцать лет советского плаката*, М.
- Погодин, Н. 1927. „Гость с того света“, *Огонек*, 50, 10-11.
1998. *Письма во власть (1917-1927): Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям*, М.
- Рассел, Д.Б. 2001. *Люцифер. Дьявол в Средние века*, СПб.
- 2002. *Мефистофель. Дьявол в современном мире*, СПб.
- Рогинская, Ф. 1930. „Очередные задачи на фронте производственных искусств“, *Искусство в массы*, 2, 6-12.
- Светлов, М. 1927. „В разведку“, *Собрание сочинений в 3 томах*, т. 1, М., 1974, 210.
- Смирнова, Т. 2003. „Бывшие люди“ *Советской России*, М.
- Сталин, И. 1949. „Речь на июльском пленуме ЦК“, *Собрание сочинений в 13 томах*, т. 11, М.
- Таривердиев, М. 1997. *Я просто живу*, М.
- Хвойник, И. 1926. „Борьба за качество формы в промышленности“, *Советское искусство*, 3, 1-9.

- Ходасевич, В.М. 1987. *Портреты словами*, М.
- Bonnell, V. 1998. *Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin*, Berkeley.
- Douglas, M. 1970. *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, Harmondsworth.
- Hunt, L. 1984. *Politics, Culture and Class in the French Revolution*, Berkeley.
- Parkins, W. (ed.) 2002. *Fashioned the Body Politic: dress, gender, citizenship*, New York.
- Stearns, P.N. 1997. *Fat History: bodies and beauty in the modern West*, New York.
- Turner, B. 1996. *The Body and Society*, London.